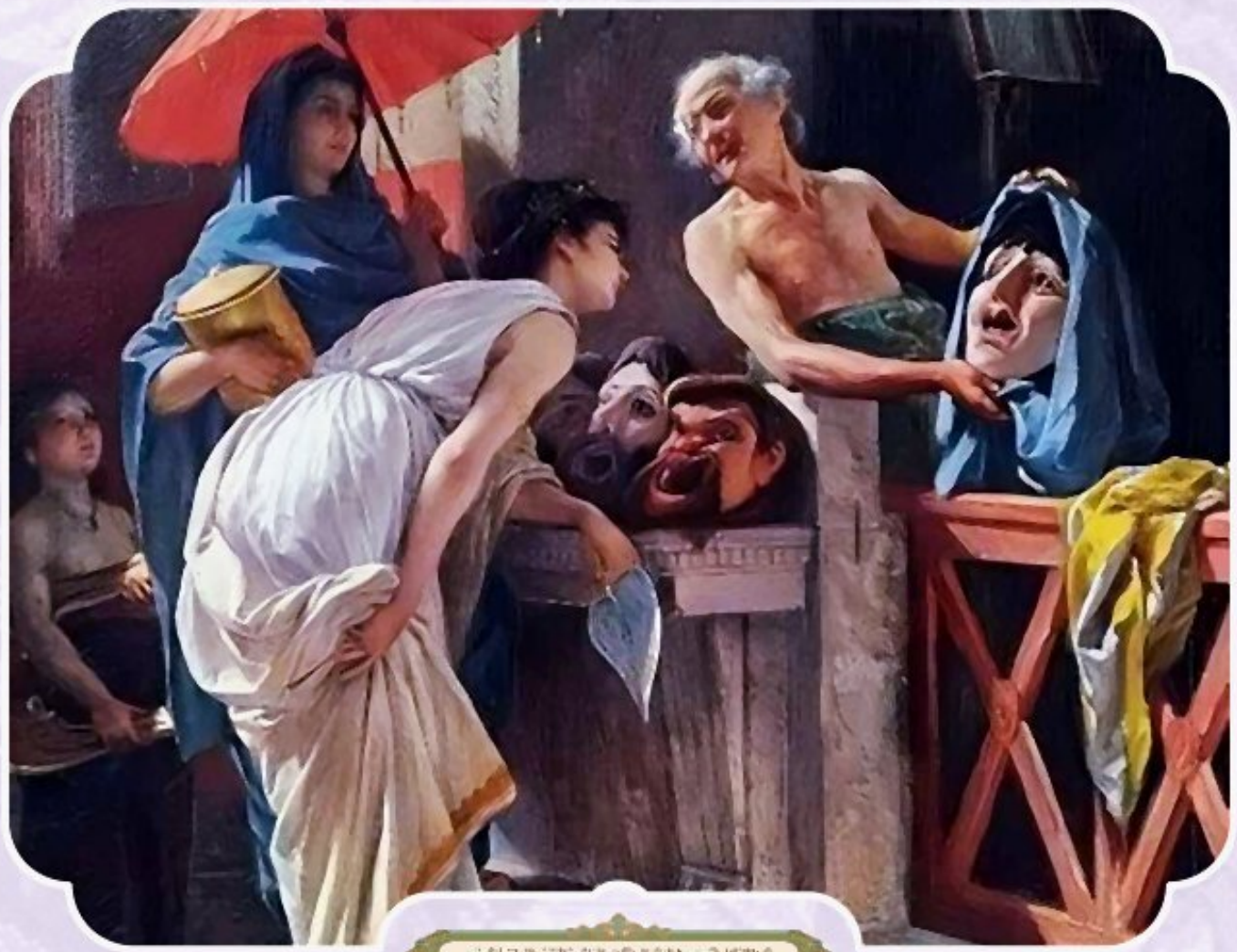
АНАТОЛЬ Анатоль Франс

ANATOLE FRANCE

ФРАНС

На белом камне



Классика на все времена

Анатоль Франс

На белом камне

«СОЮЗ»
1905

Франс А.

На белом камне / А. Франс — «СОЮЗ», 1905 — (Классика на все времена)

ISBN 978-5-60-554561-3

В социально-философском романе-утопии «На белом камне» Анатоль Франс воссоздает картины древнегреческого и древнеримского общества, одновременно затрагивая такие вечные темы, как справедливость, мир и будущее человечества. Размышления и переживания римского проконсула Галлиона и его дискуссии с друзьями демонстрируют восхищение древними добродетелями, одновременно критикуя излишества и пороки той эпохи. Проводя параллели между историей Древнего Рима и современностью, Анатоль Франс изображает коммунистическое общество будущего, считая прошлое зеркалом современных проблем.

ISBN 978-5-60-554561-3

© Франс А., 1905
© СОЮЗ, 1905

Содержание

I 6
II. Галлион 12
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Анатоль Франс
На белом камне

Anatole France
Sur la pierre blanche

© ИП Воробьёв В. А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

* * *

Ты спал как будто на белом камне среди призрачного народа.
Филопатрис XXI

I

НЕСКОЛЬКО французов, связанных дружбой, про водили весну в Риме и часто, встречались на раскопках Форума. То были Жозефин Леклерк, атташе посольства в отпуску, доктор филологии Губэн, комментатор Николь Ланжелье, принадлежащий к старинной фамилии парижских Ланжелье, типографов и гуманистов, Жан Буайи, инженер, и Ипполит Дюфрен, обладавший досугом и любовью к искусству.

Первого мая, около пяти часов вечера, они, по обыкновению, прошли сквозь маленькую, неизвестную публике дверь на северной стороне, где руководитель раскопками командор Джиакомо Бони, принял их с присущей ему молчаливой любезностью и проводил до порога своего замененного лаврами, бирючиной и ракитником, деревянного дома, который возвышался над огромной выемкой вырытой прошлым столетием от слоя почвы папского воловьего рынка до поверхности древнего Рима.

Там они останавливаются и осматриваются.

Прямо перед ними возвышаются обезглавленные остовы почетных стел [*У римлян, обычно, небольшая колонна без капители, на которой высекалась надпись в память события или лица – Здесь и далее прим. ред.*], а на месте базилики Юлия виднеется как бы большая шашечная доска с шашками.

Южнее три колонны храма Диоскуров купают в небесной лазури свои голубеющие завитки. Справа, поднимаясь над развалинами арки Септимия Севера и над высокими колодками обиталища Сатурна, дома христианского Рима и женская больница, расположенная на Капитолии, громоздили свои фасады желтее и грязнее вод Тибра. Слева поднимается Палатам, охваченный большими красными арками и увенчанный дубовой листвою, а у мог их выросли из земли стены и мраморные основания, – остатки зданий, в дни латинской мощи покрывавших Форум по сторонам плит Священного пути, такого же узкого, как деревенская улица. Клевер, овес и тюлевые травы, посеянные ветром на их низких вершинах, образовали их убогую крышу, где рдеют цветы полевого мака. Обломки упавших карнизов, множество колонн и алтарей, нагромождение ступеней и оград, – все это имело характер, конечно, не мелкого, но сдержанного приземистого величия. Николь Ланжелье, несомненно, восстанавливает мысленно сонм памятников, некогда теснившихся на этом прославленном пространстве.

– Эти здания, – сказал он, – построенные в мудрых пропорциях и умеренных размерах, отделялись друг от друга тенистыми переулками. – Там, среди храмов, славные правнуки Рема, послушав ораторов, находили прохладный угол для еды и сна, где дурно пахло, где арбузные корки и обломки ракушек не выметались никогда. Разумеется, лавочки, окаймлявшие площадь, выделяли крепкий запах чеснока, вина, жира и сыра. Мясные лавки были нагружены мясом; приятное зрелище для здоровых граждан; и у одного из этих мясников Виргиний взял нож, чтобы убить свою дочь. Без сомнения, были тут ювелиры и торговцы маленькими домашними божками, хранителями очага, хлева и сада. Все, что было нужно гражданам для жизни, соединялось на этой площади. Рынок и магазины, базилики (иначе говоря, товарные биржи и гражданские суды); курия, этот городской совет, который в последствии управлял миром; тюрьма, подземелье которой испускало ужасающую вонь; храмы, алтари – первая необходимость итальянцев, которым всегда есть чего просить у небесного могущества.

Наконец, именно здесь совершались на протяжении стольких веков поступки пошлые или своеобразные, почти всегда безвкусные, часто отвратительные или смешные, и иногда великие, совокупность которых составляет божественную жизнь народа.

– Что это там, среди площади, перед основаниями для памятников? – спросил Губэн, который, вооружившись своим биноклем, заметил на древнем Форуме нечто новое и хотел получить разъяснение. Жозефин Леклерк любезно ответил ему, что это фундамент колосса

Домициана, недавно обнаруженный. Потом он по очереди указал пальцем памятники, открытые Джиакомо Бони в продолжении пяти лет плодотворных раскопок: фонтан и колодец Ютурны на палатинатом холме; воздвигнутый на месте погребения Цезаря алтарь, цоколь которого покоился у их ног перед рострами; древняя стела и легендарная могила Ромула, которую покрывал черный камень из Комиции, и «озеро» Курция. Солнце, опускаясь за Капитолий, пронизывало своими последними стрелами триумфальную арку Тита на Верхней Велии. Белая луна всплыла на западной части неба, но оно оставалось голубым, как среди дня: тень ровная, спокойная, ясная наполняла Форум молчанием. Загорелые землекопы взрывали кирками каменную ниву, а их товарищи, продолжая работу древних царей, вращали колесо колодца, поставляя воду, и поныне орошавшую ложе, где дремал осененный камышами Волабр, в дни благочестивого Нумы. Они исполняли свой труд старательно и со вниманием. Ипполит Дюфрен а течение многих месяцев видевший, как усердию они работали, как быстро и толково выполняли полученные распоряжения, спросил у руководителя, чем он добился этого.

– Живя, как они, – ответил Джиакомо Бони, – я разгребаю с ними землю, я сообщаю им о том, чего мы совместно ищем, я заставил их почувствовать красоту нашей простой работы, величие которой они смутно чувствуют. Я видел, как они бледнели от волнения, раскапывай могилу Ромула. Я их ежедневный товарищ, и если кому-нибудь из них случается захворать, я сажусь у его постели. Я рассчитываю на них, а они рассчитывают на меня, – вот почему я имею верных работников.

– Бони, мой дорогой Бони! – вскричал Жозефин Леклерк. – Вы знаете, как я восхищен вашими работами и как волнуют меня ваши чудесные открытия, и все-таки, разрешите мне сказать, я сожалею о времени, когда на погребенном Форуме паслись стада, когда белый бык, с рогами, расходящимися над широким лбом, пережевывал жвачку на этом пустынном поле, а пастух засыпал у подножья высокой колонны, выходившей из земли, и можно было мечтать: здесь некогда вершились судьбы мира. С тех пор, как Форум перестал быть коровьим пастбищем, он потерян для поэтов и влюбленных.

Жан Буайи указал, насколько эти раскопки, произведенные методически, способствуют познанию прошлого и разговор зашел о философии римской истории.

Латиняне были рассудительны, – сказал он, – даже в своей религии: они почитали богов Ограниченных, простых, но полных здравого смысла и иногда замечательных. Когда сравнишь Римский Пантеон, составленный из военных судей, девственниц и матрон, с чертовщиной, нарисованной на стенах этрусских гробниц, – видишь сопоставление разума и безумия. Адские сцены, начертанные на усыпальницах Корнето, изображают чудовищ, порожденных невежеством и страхом. Они нам кажутся такими же нелепыми, как и «Страшный Суд» Орканьи в церкви Санта-Мария-Новелла, или Дантовский ад Пизанского Кампо-Санто, тогда как Латинский Пантеон неизменно представлял собою образ благоустроенного общества. Боги римлян, подобно своим почитателям, были трудолюбивыми, хорошими гражданами. Это были полезные боги: каждый выполнял определенную функцию. Нимфы – и те занимали у них гражданские и политические должности. Вспомните Ютурну, алтарь которой мы видели столько раз у подножия Палатина. По своему рождению, приключениям и несчастью, она, казалось, не была предназначена занимать постоянную должность в городе Ромула. Это была негодующая рутулка [*Рутулы – одно из племен древнего Лациума (в Италии)*]. Любимая Юпитером, она получила от бога бессмертие. Когда царь Тури, по воле судьбы, был убит Энеем, она, не успев умереть одновременно с братом, бросилась в Тибр, чтобы, по крайней мере, убежать от дневного света. И еще долго пастухи Лациума рассказывали историю тоскующей нимфы, жившей в глубине реки. Позднее, жителям сельского Рима казалось, что, склоняясь ночью над крутым берегом, они видели ее при лунном свете среди камышей, в покрывале цвета морской воды. И что ж? Римляне не оставили ее праздной при всех ее скорбях. Им немедленно пришла мысль приискать ей серьезное занятие, и они вверили ей охрану своих фонтанов, Они сделали ее

муниципальной богиней. Так обстоит дело и с прочими их божествами. Диоскуров, двух братьев Елены, от храма которых остались такие прекрасные развалины, эти ясные звезды, римляне приспособили в качестве государственных гонцов. И Диоскуры явились в Рим на белых конях сообщить о победе у Регильского озера. Итальянцы просили у своих богов только земных благ и надежных выгод. В этом отношении, вопреки всем азиатским ужасам, наводнившим Европу, их религиозные чувства не изменились. То, чего они требовали прежде, от своих богов и гениев, они ждут сегодня от мадонны и святых.

Каждый приход обладает собственным угодником, заваленным поручениями не хуже депутата. Имеются святые для виноградника, для зерна, для скота, для реви в животе, для зубной боли. Латинское воображение опять населило небеса множеством подвижных образов и превратило еврейский монотеизм в новое многобожье. Оно расцветило евангелие богатой мифологией. Оно восстановило дружественные отношения между божеским и земным миром. Крестьяне требуют чудес от своих святых покровителей и ругают их последними словами, если чудо запаздывает. Крестьянин, который тщетно испрашивал милость младенца, возвращается в часовню и обращается на этот раз к царице небесной: «Не тебе, девкин сын, говорю, а твоей святой матери». Женщины вмешивают божью матерь в свои любовные шашни. Они резонно рассуждают, что она женщина, знает, в чем дело, и стесняться с ней не приходится. Они не боятся никогда быть нескромными, что только доказывает их набожность. Вот почему надо восхищаться молитвой, с которой обратилась к мадонне красивая девушка с генуэзского побережья.

«Пресвятая матерь божия, ты, зачавшая без греха, разреши мне согрешить без зачатия…»

Затем Николь Ланжелье высказал мнение, что религия римлян подчинялась их политике.

– Отмеченная резко национальным характером, – сказал он, – она, несмотря на это, способна была проникать к другим и завоевывать их своим духом общительности и терпимости. Это была религия управления, которая без труда распространялась вслед за управлением.

– Римляне любили войну, – сказал Губан, тщательно избегавший парадоксов.

– Они не любили войну саму по себе, – возразил Жан Буайи, – они были для этого слишком умными. Легко установить по некоторым признакам, что военным ремеслом они тяготились. Господин Мишель Бреаль вам скажет, что слово, которое вначале значило: солдатская амуниция – *aerumna*, впоследствии приняло смысл усталости, подавленности, нищеты, страдания, испытания и отчаяния. То были крестьяне, как крестьяне: они шли воевать не иначе, как по принуждению. И сами их начальники, крупные помещики, воевали не ради удовольствия и славы. Раньше чем идти воевать, они раз двадцать соображали свои интересы и внимательно взвешивали свои шансы на успех.

– Без сомнения, – сказал господин Губэн, – но их положение и состояние мира заставляли их вечно пребывать на военном положении. Так они и пронесли культуру до самых окраин известного им света. Война – несравненное орудие прогресса.

– Латиняне, – заговорил Жан Буайи, – были землепашцы и вели войну землепашцев. Их честолюбие носило всегда земледельческий характер. Они требовали у побежденных не денег, а земли – всей или части территории покоренных племен, чаще всего треть ее, из дружбы, как они говорили, и потому, что они были умеренными. Где легионер: воткнул свою пику, на другой день пахарь уже шел за плугом. Свои завоевания они закрепляли пахарями. Они были солдатами, несомненно, удивительными, дисциплинированными, терпеливыми, храбрыми, которые били сами и давали себя бить, как и всякие другие. Крестьянами еще более изумительными. Если дивиться тому, как они завоевали столько земли, нужно еще более удивляться тому, как они ее сохранили. Чудо в том, что эти упрямые мужики, проиграв много битв, можно сказать, ни разу не уступили и десятины земли.

В то время, как они беседовали таким образом, Джиакомо Бони недружелюбно поглядывал на высокий кирпичный дом, поднимающийся к северу от Форума на ряде фундаментов старинных надстроек.

– Сейчас нам предстоит, – сказал он, – исследовать курию Юлия. Мы скоро сможем, надеюсь, снести гнусную постройку, которая покрывает эти останки. Государству будет не обременительно купить его на слом.

На глубине девяти метров йод землей, которая поддерживает монастырь святого Адриана, покоются плиты Диоклетиана, последнего реставратора курии. В мусоре мы найдем, конечно, много мраморных таблиц, на которых вырезаны законы. Необходимо, для Рима, для Италии, для всего мира, чтобы памятники римского Сената были вновь выведены на свет божий.

Потом он пригласил друзей в свою хижину, гостеприимную и безыскусственную, как дом Эвандра. Она состояла из единственной залы, где помещался стол из некрашеного дерева, нагруженный черной посудой и бесформенными обломками, пахнувшими землей.

– Доисторические, – вздохнул Жозефин Леклерк. – Итак, дорогой Джиакомо Бони, вам недостаточно искать в глубине Форума памятников императоров, республики и царей. Вы углубляетесь теперь в почву, которая носила исчезнувшую флору и фауну. Вы роетесь в четвертичном, в третичном пластах, вы проникаете в плеоценовый, миоценовый, эоценовый период. От археологии латинской вы переходите к археологии доисторической и к палеонтологии. В салонах уже обеспокоены тем, до какой глубины вы дойдете. Графиня Назолини не представляет себе, где вы остановитесь, а в сатирической газетке изображено, как вы выходите через страну антиподов и вздыхаете: теперь наладилось… (*Aclesso va bene*).

Бони, казалось, не слышал, он рассматривал с глубоким вниманием глиняный сосуд, еще сырой и грязный. Его ясные и переменчивые глаза темнели, когда он выискивал на этом убогом человеческом изделии какой-нибудь еще незамеченный знак таинственного прошлого. И они вновь делались бледно-голубыми, уходя в мечту.

– Останки, которые вы видите здесь, – сказал он наконец, – эти маленькие гробики из неотесанного дерева, эти урны из черной глины, имеющие форму хижин и содержащие обугленные кости, найдены под храмом Фаустины в северо-западном углу Форума.

Рядом с черными урнами, полными пепла, находят и скелеты, спящие в своих гробах, как в постели. Греки и римляне применяли одновременно и погребение и сожжение. Во времена, предшествовавшие истории, по всей Европе одинаково следовали обоим обычаям в одном и том же городе, в одно и то же время. Соответствуют ли эти разновидности погребения двум расам, двум мировоззрениям? Думаю, что так.

Почтительным, почти обрядовым жестом он взял в руки сосуд, имевший форму хижины и содержавший немного пепла.

– Те, – сказал он, – которые в незапамятные времена обрабатывали так глину, думали, что душа, привязанная к костям и пеплу, нуждается в жилище, но что бы жить там сократившейся жизнью мертвых, ей не нужно большого дома. То были люди благородной расы, выходцы из Азии, Тот, чей легкий прах я поднимаю сейчас, жил прежде времен Эвандра и пастуха Фаустула.

И он прибавил шутливо, говоря по образцу древних:

– В те дни царь Итал, или Витул, царь-Телец, мирно властвовал над этой страною, уготованной к славе, В те дни по земле Авзонийской простирались однообразные царства стад. В те дни люди не были ни грубыми, ни невежественными. Они унаследовали от предков своих много драгоценных познаний. Им были известны и корабль и весла. Они знали искусство подчинять быка ярму и впрягать его в дышло. По воле своей они зажигали божественный огонь. Они добывали соль, обрабатывали золото, лепили и обжигали глиняные сосуды. Несомненно, они начинали обрабатывать и землю. Рассказывают, что Латинские пастухи сделались земле-

пашцами в легендарное царствование Тельца. Они возделывали просо, ячмень и пшеницу. Они сшивали шкуры костяными иглами. Они ткали и, быть может, умели окрашивать шерсть в различные цвета. Они измеряли время по фазам луны. Они созерцали небо и познавали в нем землю. Они видели на нем борзую собаку, которая охраняла звездные стада хозяина Диоспитера. В плодородных тучах они видели скот солнца, кормилиц-коров голубых равнин. Они обожали небо, отца своего, и свою мать – землю. А по вечерам они слышали, как повозки богов-кочевников, подобных им, попирали цельными колесами горные тропинки. Они любили дневной свет и с грустью думали о жизни душ в царстве теней. Мы знаем, эти широкоголовые арийцы были белокурыми, потому что боги их, сотворенные по образу их, белокуры. Индра имел волосы, подобные колосьям ржи, и бороду, как тигровая шкура. Греки представляли себе бессмертных богов с голубыми или зелеными глазами и с волосами цвета золота. Богиня Рима была рыжей и белой (*flava et candida*). По римским преданиям, Ромул и Рем имели желтые кудри.

Если бы было можно восстановить эти обугленные кости, вы увидели бы перед собой чистые арийские формы. В этих широких, крепких черепах, в этих головах, квадратных, как первый Рим, основанный их сыновьями, вы узнали бы предков патрициев республики, могучий корень, долгое время поставлявший трибунов, первосвященников и консулов, вы бы могли коснуться превосходного вместилища этих крепких мозгов, которые создали религию, семью, армию и общественное право города, организованного крепче всех других, известных до и после него.

Медленно поставив глиняную урну на грубый стол, Джиакомо Бони склонился над гробом величиною с люльку, гробом, выдолбленный из дубовой колоды и напоминающим своей формой первые челноки человека. Он приподнял тонкую стенку коры и мязги, покрывавшую эту погребальную лодочку, и показал косточки, хрупкие, как птичий скелет. От туловища остался только спинной хребет, и могло казаться, что здесь лежало одно из наиболее скромных позвоночных, например, большая ящерица, если бы выпуклость лба не обличала человека. Цветные бусы рассыпанного ожерелья покрывали темные кости, омытые подземными водами и облепленные жирной землей.

– Взгляните теперь, – сказал Бони, – на этого маленького ребенка, который не был сожжен с почетом, но зарыт и целиком возвращен земле, из которой он вышел. Он не был сыном вождей, благородным наследником белокурых людей. Он принадлежал к туземной расе Средиземного побережья, которая стала римским плебсом и поныне еще снабжает Италию тонкими адвокатами и счетчиками. Он родился в Палатинском городе Семи Холмов в эпоху, скрытую от нас наслоениями героических легенд. Этот ребенок принадлежит эпохе Ромула. В те времена Долина Семи Холмов представляла собою болото, а Палатин был покрыт только тростниковыми хижинами. Маленькое копье было положено на гроб в знак того, что ребенок мужского пола. Ему было не более четырех лет, когда он уснул сном мертвых. Тогда его мать застегнула на нем красивую тунику и окружила его шею ожерельем из бус. Соплеменники не оставили его без даров. Они положили на его могилу молоко, в сосудах из черной глины, бобы и гроздья винограда. Я нашел эти вазы и сделал подобные им из той же земли на огне костра, сожженного ночью на Форуме. Прежде чем проститься с ним, они вместе выпили и съели часть принесенных яств, и эта погребальная трапеза заставила их позабыть свое горе. Младенец, спящий со дней бога Квирина! Империя пронеслась над твоим простеньким гробиком, и те же звезды, которые сверкали при твоем рождении, зажгутся сейчас над нашими головами. Неизмеримая бездна, отделяющая твои дни от наших, – лишь неразличимый миг в жизни вселенной.

После минутного молчания Николь Ланжелье сказал:

– По большей части в народе так же трудно различить расы, его составившие, как и проследить в течении реки притоки, в нее влившиеся. И что такое раса? Существуют ли человеческие расы в действительности? Я вижу, что существуют люди белые, красные и черные. Но

это не расы, это только разновидности одной и той же расы, одного и того же рода, совершающие между собою плодотворные союзы и непрерывно смешивающиеся. Ученые с еще большим основанием отказываются признавать множественность желтых и белых рас. Но люди измышляют расы в угоду своей гордости, ненависти или алчности.

В 1871 году Франция была расчленена в силу прав германской расы. Германской расы нет. Антисемиты разжигают против еврейской расы ярость христианских народов, а еврейской расы нет.

– То что я говорю, Бони, это чисто отвлеченное умозрение, и я не имею в виду вам противоречить. Да и как вам не верить? Убеждение живет на ваших губах, и вы сочетаете в своем уме широкие научные истины с глубокими истинами поэзии. Вы утверждаете, что пастухи, пришедшие из Бактрии, населяли Грецию и Италию, вы утверждаете, что они нашли там старожилов. У итальянцев и эллинов в древности существовала общее поверие о том, как первые люди, населявшие их страну, подобно Эрехтею, родились из земли. И я не стану оспаривать, дорогой Бони, что вы можете проследить, сквозь века, первобытных жителей Авзонии я переселенцев, пришедших с Памира, и в одних, – полных доблести и чести патрициев, в других же – изобретательных и речистых плебеев. Потому что, если, строго говоря, и не существует различных человеческих рас, а тем более различных белых рас, то, с другой стороны, можно с уверенностью отметить в нашей породе ясные различия, иногда весьма характерные. Если так, то ничего нет особенного в том, что две или несколько разновидностей жили бок-о-бок, долгое время не смешиваясь между собою и сохраняя свой личный характер. И иногда эти различия, вместо того, чтобы сгладиться под влиянием усилий природы, наоборот, с течением времени, под властью незыблемых обычаев и под давлением общественных условий могут выделяться с каждым веком сильнее.

– Истинная правда (*e proprio vero*), – пробормотал Бони, покрывая дубовой покрышкой ребенка эпохи Ромула.

Потом он предложил гостям стулья и обратился к Николю Ланжелье:

– Теперь вам следует одержать ваше обещание и прочесть ту историю Галлиона, которую я видел, как вы писали в вашей комнатке, на улице Форо Трояно.

В ней вы заставляете говорить римлян. Ее приличествует слушать здесь, в углу Форума перед Священной дорогой, между Капитолием и Палатином. Торопитесь, чтобы не быть прерванным сумерками и из опасения, что ваш голос скоро не сможет заглушить крик птиц, оповещающих друг друга о приближении ночи.

Гости Джиакомо Бони приветствовали эти слова ропотом одобрения. Николь Ланжелье, не ожидая более настоятельных просьб, развернул рукопись и прочел нижеследующее:

II. Галлион

В 804 году с основания Рима и на тринадцатом году царствования Клавдия Цезаря, Юний Анней Новат был проконсулом Ахайи. Происходя из семьи всадников, выходцев из Испании, сын ритора Сенеки и добродетельной Гельвии, брат Аннея Мелы и знаменитого Люция Аннея, он носил имя своего приемного отца, ритора Галлиона, изгнанного Тиверием. В жилах его матери текла кровь Цицерона, и от своего отца, вместе с несметными богатствами, он унаследовал любовь к эпистолярному стилю и философии. Он читал работы греческих авторов еще более старательно, чем писание авторов латинских. Благородное беспокойство волновало его ум. Он интересовался физикой и еще тем, что к ней добавляют [*То-есть и метафизикой*]. Деятельность его разума была настолько живой, что, даже принимая ванну, он слушал чтение и непрестанно носил собой, даже на охоте, свой стилос и восковые таблицы. На досуге, который умел найти даже среди обширной деятельности и наиболее важных забот, он писал книги по вопросам естествознания и сочинял трагедии. Клиенты и вольноотпущенники хвалили его за мягкость обращения. У него был действительно благожелательный характер. Никогда не видели, чтоб он предавался гневу. Он считал жестокость и вспыльчивость слабостью самой худшей и наименее простительной. Он испытывал отвращение ко всякой жестокости, если ее истинный характер не ускользал от него вследствие давности обычая или авторитета общественного мнения. И все-таки часто в суровости, освященной обычаями предков и санкционированной законом, он открывал отвратительные крайности, против которых восставал и которые попытался бы уничтожить, не противопоставляй ему другие со всех сторон интересы государства и общественного спокойствия. В ту эпоху добрые судья и честные чиновники не были редкостью в империи. Среди них, конечно, нашлись бы люди, столь же честные и справедливые, как Галлион, но вряд ли в ком-либо другом встретилось бы столько человечности.

Получив в управление Грецию, уже лишенную своих богатств, потерявшую славу и, после буйной свободы, впавшую в спокойную праздность, он помнил, что в давние времена она просветила мир мудростью и искусством, и его поведение в отношении к ней объединяло бдительность опекуна с сыновнею почтительностью. Он уважал независимость городов и права личные. Он почитал тех, кто были настоящими греками по рождению и воспитанию, сожалея только о том, что встречает их в таком малом количестве, и что ему приходится: по большей части применять свою власть к презренной толпе евреев и сирийцев, оставаясь, во всяком случае, справедливым к этим азиатам и не вменяя этого себе в подвиг добродетели. Его резиденцией был Коринф, город наиболее богатый и наиболее населенный во всей римской Греции. Его вилла, построенная во времена Августа, увеличенная и разукрашенная с тех пор его предшественниками – проконсулами, последовательно управлявшими этой провинцией, поднималась на крайних склонах Западного Акрокоринфа, мохнатая макушка которого была увенчена храмом Венеры и рощей иеродулов [*Иеродулы – рабы при храмах*]. Это был дом достаточно просторный, окруженный садами со статуями, нишами гимназиями [*Гимнастические залы*], банями, библиотеками и алтарями, посвященными богам.

Однажды утром он, по своему обыкновению, прогуливался в них со своим братом Аннеем Мелой, беседуя о законах природы и о превратностях судьбы. На розовом небе всходило влажное и чистое солнце. Мягкая волнообразная линия истмийских холмов скрывала от глаз саронийский берег, стадион, святилище игр и кенхрейский порт, расположенный на востоке. Но между рыжеватыми боками Геранийских гор и розовым двуглавым Геликоном можно было видеть, как спит голубое море Альцион. Вдали к северу сверкали три снежных вершины Парнаса. У ног их, на широком плоскогорье, покрытом бледным песком и мягко склоненном к пенистым берегам залива, покоился Коринф. Плиты Форума, колонны базилики, уступы цирка, белые ступени пропилей блестели, а золоченые кровли храмов искрились молни-

ями. Обширный и новый город был пересечен прямыми улицами. Широкая дорога спускалась к Лехейской гавани, окаймленной складами и покрытой судами. На западе земля была загрязнена копотью кузниц и черными ручьями красилен, а на другой стороне еловый лес тянулся до самого горизонта и там сливался с небом. Понемногу город проснулся. Резкое ржание лошади прорезало утренний воздух, и послышались глухой шум колес, крики возниц и пение торговок зеленью. Старые слепые женщины, ведомые детьми, выйдя из своих лачуг сквозь развалины Сизифова дворца, с медными урнами на головах шли набрать воды пиренского источника. На плоских крышах домов; тянувшихся вдоль садов проконсула, коринфянки развешивали белье для сушки, и одна из них била своего ребенка стеблями порея. На глубокой дороге, поднимавшейся к Акрополю, полуголый старик стегал по заду своего ослика, беззубым ртом напевая себе в жесткую бороду песню рабов:

Работай ослик,
Как я работал,
И это тебе пригодится,
Можешь не сомневаться.

Между тем вид города, возобновляющего свой ежедневный труд, заставил Галлиона подумать о том первом Коринфе, красавце Ионии, богатом и веселом до дня, когда он увидал, как солдаты Муммия истребляют его граждан, как его женщин, благородных дщерей Сизифа, продают с молотка, жгут его дворцы и храмы, валят его стены, а богатства громоздят на консульские либурны.

– Менее ста лет назад, – сказал он, – последствия работы Муммия сохранялись еще полностью. Берег, который ты видишь, о, брат мой, был пустыннее Ливийских песков. Божественный Юлий восстановил город, разрушенный нашими войсками, и заселил его вольноотпущенниками. На отмели, где славные баккхиады красовались в своей гордой лени, расположились бедные и грубые латиняне, и Корниф начал возрождаться. Он быстро разросся и сумел извлечь выгоду из своего положения. Он обложил данью все суда, приходящие с Востока и Запада и останавливающиеся в Лехейской или Кенхрейской гавани. Его население и богатства не перестают увеличиваться по милости римского мира.

– Каких только благодеяний не излила империя на мир. Благодаря ей города и села наслаждаются глубоким покоем. Моря очищены от пиратов, а дороги – от разбойников. От туманного океана до Пермулийского залива, от Гадеса и до Ефрата торговля товарами протекает в ничем не омрачаемой безопасности. Закон защищает жизнь и благосостояние каждого. Права каждого охранены от посягательств. Отныне свобода знает только те пределы, которые служат чертой ее же обороны, и ограничена только для собственной безопасности. Справедливость и разум правят вселенной.

Анней Мела не искал почестей, подобно двум своим братьям. Те, кто его любил, а таких было много, так как он обладал неизменно приветливым обращением и крайним благодушием, относили его удаление от дел к умеренности характера, увлеченного спокойной безвестностью, и избегавшего других забот, кроме изучения философии. Но более холодным наблюдателям казалось, что он, по-своему, честолюбив я стремится, подобно Меценату, оставаясь простым римским всадником, достичь консульской власти. Наконец некоторые недоброжелательные умы различали в нем свойственную Сенекам алчность к тем самым богатствам, которые он притворно презирал, и они объясняли этим долгое и безвестное проживание Мелы в Бетике, совершенно поглощенного управлением своих обширных владений, а также то, что, вызванный впоследствии своим братом философом в Рим, он принял на себя заведывание государственной казной, вместо того, чтобы домогаться высших судебных или военных должностей. Судить о характере его по разговорам было нелегко, потому что он применял язык

стоиков, одинаково пригодный, как для сокрытия человеческих слабостей, так и для обнаружения величия души.

В те времена говорить добродетельные речи считалось хорошим тоном. Несомненно, что Мела, по крайней мере, мыслил возвышенно.

Он ответил брату, что, не будучи, подобно ему, посвящен в общественные дела, он привык восхищаться могуществом и мудростью римлян.

– Свойства эти, – сказал он, – проникают до самой глубины нашей Испании. Но лучше всего я почувствовал благодетельное величие империи в одном диком ущелии Фессалийских гор. Я отбыл из Ипатии, города, славного своими сырами и колдуньями, и уже 4 часа, как я ехал по горе, не встречая лица человеческого. Измученный усталостью и жарой, я привязал моего коня к дереву, несколько удаленному от дороги, и разлегся под кустом ежевики.

Так отдыхал я в продолжении нескольких мгновений, когда увидал худого старика, нагруженного вязанкой Хвороста и согбенного тяжестью ноши. Выбившись из сил, он покачнулся и, готовый упасть, воскликнул: «Цезарь!» Услыхав, как это восклицание сорвалось с губ бедного дровосека среди скалистой пустыни, сердце мое наполнилось глубоким уважением к Риму-покровителю, который в самых отдаленных странах внушает самым диким душам представление царственного могущества. Но к моему восхищению, брат мой, примешались печаль и тревога, когда я подумал о том, какому ущербу и какому поношению грозят подвергнуться и наследство Августа и судьба Рима из-за людского безумия и пороков этого века.

– Мне случалось близко видеть, брат мой, – ответил ему Галлион, – те преступления и пороки, которые тебя огорчают. Заседая в сенате, я бледнел под взглядом жертв Кая. Я молчал, не отчаиваясь в том, что доживу до лучших дней. Я полагаю, что добрые граждане должны служить республике и при дурных правителях, вместо того, чтобы уходить от своих обязанностей путем бесполезной смерти.

Пока Галлион говорил эти слова, два еще молодых человека в тогах приблизились к нему. Один из них был Луций Кассий, из старинного и заслуженного, хотя и плебейского рода, римский уроженец, другой – Марк Лоллий, сын и внук консулов и, во всяком случае, из семьи всадников, выходцев города Террацины. Оба они посещали афинские школы и приобрели в них такие познания в области законов природы, которым римляне, не бывшие в Греции, оставались совершенно чужды. В то время они обучались в Коринфе управлению общественными делами, и проконсул держал их около себя, как украшение своего суда.

Немного позади их, одетый в короткий плащ философа, с лысым лбом и с бородою, какую носил Сократ, медленно шел грек Аполлодор и рассуждал сам с собой, подняв руку и шевеля пальцами.

Галлион оказал всем троим благосклонный прием.

– Уже побледнели розы утра, – сказал он, – и солнце начало метать свои палящие стрелы. Придите друзья! Эта тень прольет на вас прохладу.

И он повел их вдоль ручья, журчанье которого навевало спокойные мысли, до круглой куртины из молодых зеленеющих деревьев, где находился алебастровый бассейн, полный прозрачной воды, по которой скользило перо горлицы, только что искупавшейся в ней и сейчас жалобно ворковавшей в листве. Они уселись на мраморной скамье, которая тянулась полукругом и поддерживалась гриффонами. Лавры и мирты соединяли над ней свои тени. Вдоль всей окружности куртины стояли статуи. Раненая амазонка томно обвивала голову движением согнутой руки. На ее красивом лице страдание казалось прекрасным. Косматый сатир играл с козой. Окончив купание, Венера отирала свои влажные члены, по которым, казалось, пробегал трепет наслаждения. Около нее молодой фавн, улыбаясь, подносил к своим губам флейту. Его лоб был полузакрыт ветвями, но сквозь листву блестел его лоснящийся живот.

– Кажется, что этот фавн дышит, – сказал Марк Лоллий, – как будто легкое дыхание поднимает его грудь.

– Это правда, Марк, так и ждешь, что он извлечет из своей флейты, сельские напевы, – сказал Галлион. – Раб грек изваял его в мраморе со старинного образца. Грека в давние времена были большими мастерами таких безделушек. Многие из их работ в этом стиле справедливо прославились. Нельзя отрицать: они умели придавать богам величественный образ и выражать в мраморе или в бронзе царственность властителей мира. Кто не восхищается олимпийским Юпитером Фидия? А вместе с тем кто пожелал бы стать Фидием?

– Конечно, никакой римлянин не хотел бы стать Фидием! – вскричал Лоллий, расточивший несметное наследство своих отцов на перевозку из Греции и Азии произведений Фидия и Мирона, которыми он украшал свою виллу в Позилиппо.

Люций Кассий разделял его мнение. Он настойчиво утверждал, что руки свободного человека были созданы не для того, чтобы править резцом скульптора или кистью художника, и что ни один римский гражданин не сможет унизиться до плавки бронзы, ваяния мрамора и рисования фигур на стене.

Он восхищался старинным нравом и пользовался всяким случаем, чтобы восхвалить доблесть предков.

– Курин и Фибриции, – сказал он, – сами возделывали салат и спали под соломенной кровлей. Они не знали других статуй, кроме вытесанного из сердцевины букса Приапа, который торчал среди сада могучим колом, угрожая ворам смешной и ужасной казнью.

Мела, много читавший римские летописи, привел в возражение пример одного старого патриция.

– Во времена республики, – сказал он, – славный Кай Фабий, происходивший из семьи потомков Геркулеса и Эвандра, своими руками расписал стены храма живописью, настолько всеми ценимой, что потеря ее при недавнем пожаре храма была признана общественным бедствием. Говорят, что он не снимал тоги, когда расписывал свои фигуры, утверждая этим, что пятка краски не унижают достоинства римского гражданина. Он получил прозвище живописца, и потомки его почитали за честь носить это прозвище.

Люций Кассий возразил на это:

– Изображая Победы на стенах храма, Кай Фабий имел в виду эти победы, а не живопись. В то время в Риме не было живописцев. Желая чтобы великие деяния предков были непрестанно перед глазами римлян, он подал пример ремесленникам. Но все-таки, первосвященник или эдил, кладущий первый камень зданию, не становятся от этого каменщиками или архитекторами. Кай Фабий положил начало живописи Рима, не давая этим повода зачислить себя; в число рабочих, которые зарабатывают себе пропитание, разрисовывая стены.

Аполлодор движением головы одобрил эту речь и сказал, поглаживая свою философскую бородку:

– Сыновья Иула рождены управлять миром. Все прочие заботы были бы их не достойны.

И своим круглым ртом он долго еще восхвалял римлян. Он льстил им потому, что боялся их. Но в сердце своем он ощущал только презрением к этим ограниченным людям, чуждым всякой тонкости ума. Он воздал хвалу Галлиону:

– Ты украсил этот город великолепными памятниками. Ты обеспечил свободу его сената и его народа. Ты установил хорошие правила для торговли и навигации, ты творишь суд благожелательно и правосудно. Статуя твоя воздвигнется на Форуме. Тебе будет дан титул второго основателя Коринфа, или, вернее, Коринф примет в память о тебе имя Аннея. Все это вещи, достойные римлянина и достойные Галлиона. Но не думай, что греки чтут более, чем следует, искусство физического труда. Если многие из них занимались разрисовкой сосудов, окраской ткани, ваянием статуй, то это делалось по необходимости. Уллис своими руками построил свое ложе и свой корабль.

Во всяком случае, греки считают, что мудрому не подобает предаваться суетному и грубому искусству. В своей юности Сократ изучал ремесло скульптора и сделал изображение

Харит, которое можно до сих пор видеть в афинском Акрополе. Он обладал не малым искусством и, если бы захотел, мог бы изобразить не хуже наиболее прославленных художников атлета, мечущего диск или завязывающего повязку на челе своем. Но он оставил эти работы, дабы посвятить себя исканию мудрости, как приказал ему оракул. С тех пор он обращался к молодым людям не для того, чтобы измерять пропорции их тел, но единственно для того, чтобы научить их вещам благородным. Тем, чьи формы были совершенными, предпочитала тех, чьи души были прекрасными, в противность всем скульпторам, художникам и распутникам. Эти последние почитают красоту внешнюю и пренебрегают внутренней. Вы знаете, что Фидий выгравировал на большом пальце своего Юпитера имя атлета потому, что этот был красив, не заботясь, о том, был ли он целомудрен.

– Вот почему, – заключил Галлион, – мы не восхваляем скульпторов даже тогда, когда восхваляем их произведения.

– Клянусь Геркулесом, – воскликнул Лоллий, – я не знаю, кем восхищаться больше: этим ли фавном или этой Венерой! Богиня свежа, как вода, влажность которой еще сохраняется ее телом. Она воистину сладострастие богов и людей, и не боишься ли ты, о, Галлион, что однажды ночью какой-нибудь хам, спрятавшись в твоих садах, заставит ее испытать то же оскорбление, какое юный нечистевец нанес, говорят, Книдской Венере? Утром жрецы храма обнаружили на богине следы оскорбления, и путешественники сообщают, что с тех пор она хранит на себе неизгладимое пятно. Достойны равно удивления и дерзость этого человека и долготерпение бессмертной.

– Преступление не осталось безнаказанным, – провозгласил Галлион. – Святотатец бросился в море и разбился о скалы. Его больше не видали.

– Без сомнения, – продолжал Лоллий, – Венера Книдская красотой превосходит всех прочих. Но скульптор, который изваял Венеру, в твоих садах сумел оживить мрамор. Взгляни на этого фавна: он смеется, слюна увлажняет его губы и зубы, щеки его свежи, как яблоко, все его тело искрится юностью. И все же этому фавну я предпочитаю Венеру.

Аполлодор поднял руку и промолвил:

– Нежный Лоллий, подумай немного, и ты поймешь, что это предпочтение простительно невежде, безрассудно следующему своим инстинктам, а не разуму, но непозволительно такому мудрецу, как ты. Эта Венера не может быть такой же прекрасной, как фавн, потому что тело женщины менее совершенно, чем тело мужчины, копия вещи более прекрасной не может сравниваться красотой с копией вещи менее прекрасной. А нельзя сомневаться, о, Лоллий, что тело женщины менее прекрасно, чем тело мужчины, потому что оно заключает в себе душу менее прекрасную. Женщины суетны, сварливы, заняты пустяками, они не способны к возвышенным мыслям и великим деяниям, и болезнь часто затемняет их разум.

– Однако, – заметил Галлион, – в Риме, как и в Афинах, девственницы я матери почитались достойными предстоять святыне и приносить жертвы на алтарях. Более того, боги выбирали иногда девственниц для возвращения своих прорицаний и раскрытия людям будущего. Кассандра обвила свой лоб повязкой Аполлона и напророчила разрушение Трои. Ютурне, которую любовь бога сделала бессмертной, поручили охранять римские фонтаны.

– Правда, – возразил Аполлодор, – но боги дорого заставляли девственниц платить за разъяснение своей воли и возвещения будущего. Позволяя им видеть сокровенное, они одновременно отнимали у них разум и делали их помешанными. Вообще же я согласен с тобой, о, Галлион, что некоторые женщины лучше некоторых мужчин, а что некоторые мужчины менее хороши, чем некоторые женщины. Причиной этому служит то обстоятельство, что оба пола не так различны и не так раздельны друг от друга, как это думают, и что, напротив, во многих женщинах имеется не мало от мужчины, и не мало от женщины – во многих мужчинах. Вот как объясняют это смешение: предки людей, ныне населяющих землю, вышли из рук Прометея, который, чтобы создать их, замесил глину, подобно гончарам. Он не ограничился тем,

что собственноручно слепил единственную пару. Слишком прозорливый и слишком находчивый, чтобы решиться дать произойти от одного семени и из одной формы всему человеческому роду, он сам взялся изготовить множество мужчин и женщин, чтобы сейчас же обеспечить человечеству преимущество многочисленности. Для лучшего производства столь трудной работы, он создал вначале отдельно все части, какие должны были составлять мужские и женские тела. Он наделал столько легких, печенок, сердец, мозгов, мочевых пузырей, селезенок, кишок, маток, женских и мужских половых органов, сколько нужно было, – одним словом, создал стойким искусством и в достаточном количестве все органы, посредством которых люди могли бы отлично дышать, питаться и размножаться. Он не забыл ни мышц, ни сухожилий, ни костей, ни крови, ни влаги. Наконец, он накроил кож, оставив за собой право укладывать в них, как в мешок, необходимые органы. Все куски мужчин и женщин были закончены, оставалось только их соединить, когда Прометей был приглашен на ужин к Бахусу. Он отправился к нему, и, увенчав чело розами, слишком часто осушал чашу бога. Сильно шатаясь, вернулся он в свою мастерскую. С мозгом, помраченным винными парами, с мутным взглядом, с неуверенными руками, он, на наше несчастье, вновь принялся за работу. Распределить органы человеческого тела, казалось ему легкой игрой. Он плохо соображал, что делает, и был доволен всем, что ни делал. То и дело по недосмотру он давал женщине то, что следовало мужчине, и мужчине – что подобало женщине.

Таким образом, наши прародители оказались составленными из различных кусков, которые плохо согласовались между собой. Соединяясь по своей воле или случайно, они произвели на свет существа столь же неслаженные, как они сами. Вот как произошло, что, по ошибке Титана, мы видим столько мужественных женщин и женственных мужчин. Вот чем объясняются противоречия, встречаемые в наиболее твердом характере, и почему ум, наиболее решительный, изменяет себе ежечасно. Наконец вот почему мы находимся в постоянной войне сами с собой.

Луций Кассий осудил этот миф за то, что он не учит человека побеждать самого себя, а напротив, призывает, не противиться природе.

Галлион поделился своими наблюдениями о том, как философы и поэты различно объясняют происхождение человека и сотворение мира.

– Не следует слишком слепо верить басням, которые рассказывают греки, – сказал он, – и особенно! – считать истиной, о, Аполлодор, рассказы о камнях, брошенных Пиррой. Философы не пришли к соглашению между собой по вопросу сотворения мира, оставляя нас в недоумении о том, произошла ли земля из воды, или из воздуха, или, как наиболее вероятно, из тончайшего пламени. Но греки хотят знать все и плетут хитроумные выдумки. Насколько лучше – признаться в нашем невежестве. Прошедшее скрыто от нас так же, как и грядущее. Мы живем между двумя густыми тучами – забвения прошлого и неуверенности в будущем. Между тем любопытство мучит нас познать причины вещей, и жгучее беспокойство заставляет размышлять о судьбах человека и мира.

– Это правда, – вздохнул Кассий, – мы постоянно стараемся проникнуть в непроницаемое будущее. Мы стремимся к этому изо всех наших сил и всевозможными способами. Мы думаем достигнуть этого то размышлением, то молитвой и исступлением. Некоторые вопрошают божественных оракулов, другие, не боясь преступить дозволенное, обращаются к халдейским прорицателям, или вавилонскому гаданию. Любопытство нечестивое и тщетное… К чему послужит нам знание будущего, раз оно неизбежно? И все-таки мудрецы еще более, чем простые смертные, испытывают желание прозреть в грядущее и, так сказать, броситься в него. Несомненно, происходит это оттого, что они надеются таким образом уйти от настоящего, которое приносит им столько печали и разочарования.

Да и как современным людям не иметь желания убежать из этого несчастного времени? Мы живем в веке, богатом подлостью, обильном позором и исполненном преступления.

Кассий еще долго принижал эпоху, в которой он жил. Он жаловался, что римляне, утратив древнюю добродетель, не находят удовольствия ни в чем, кроме поедания лукринских устриц и птиц с реки Фазиса, я что им нравятся только мимы, наездники и гладиаторы. Он болезненно ощущал зло, которым страдала империя: дерзкую роскошь знатных, низкую алчность клиентов и дикий разврат черни.

Галлион и брат его согласились с ним. Они любили добродетель. Все-таки у них не было ничего общего со старыми патрициями, которые, не имея других забот, кроме откармливания своих свиней и выполнения священных обрядов, завоевали мир ради преуспевания своего фермерского хозяйства. Знать от хлева, установленная Ромулом и Брутом, уже давно угасла. Патрицианские семьи, созданные божественным Юлием и императором Августом, не были долговечны. Интеллигентные люди, собравшиеся из всех провинций империи, заняли их места. Римляне в Риме, они нигде не чувствовали себя иностранцами. Они значительно превосходили древних Цетегов [*Древний патрицианский род*] изяществом мысли и человечностью чувств. Они не сожалели о республике. Они не сожалели о свободе, воспоминания о которой у них соединялись с памятью о казнях и гражданских войнах. Они почитали Катона, как героя другого века, без желания самим увидать возрождение столь возвышенной добродетели на новых развалинах. Они считали эпоху Августа и первые годы царствования Тиверия наиболее счастливым временем, когда-либо виденным на свете, поскольку золотой век существовал только в воображении поэтов. И они с болью в сердце изумлялись тому, что новый порядок вещей, обещавший человеческому роду долгое благоденствие, с такой быстротой принес Риму неслыханный позор и бедствия, неведомые даже современникам Мария и Суллы. Они видели, как, во время безумия Кая, лучших граждан клеймили каленым железом, приговаривали к работе в рудниках и к дорожным работам, как отдавали их на растерзание зверям и как отцов заставляли присутствовать при казни своих детей, а люди такой исключительной добродетели, как Кремуций Корд, чтобы лишить тирана удовольствия казнить их, предпочитали уморить себя голодом. К стыду Рима, Каллигула не пощадил ни своих сестер, ни других знатнейших женщин. И что возмущало этих риторов и философов не менее, чем насилование матрон и убийство лучших граждан, это были преступления Кая против красноречия и литературы. Этот безумец задумал уничтожить все поэмы Гомера и велел удалить изо всех библиотек писания, портреты и имена Виргилия и Тита Ливия. Галлион, наконец, не прощал ему сравнения стиля Сенеки с творилом без цемента.

Клавдия они боялись несколько меньше, чем Каллигулы, но презирали его, кажется, больше. Они смеялись над его головой, похожей на тыкву, и его голосом моржа. Этот старый ученый не был чудовищем злодейства. Упрекать его могли только в слабости. Но в действиях верховной власти эта слабость порой была не менее жестокой, чем зверство Кая. У них были с ним и семейные счеты. Если Кай смеялся над Сенекой, то Клавдий изгнал его на остров Корсику. Правда, его дотом снова вызвали в Рим и облекли достоинством претора. Но и за это не могли питать к Клавдию благодарности, потому что в этом деле он только подтвердил приказ Агриппины [*Клавдий (император 41–54 гг.) был сначала женат на Мессалине потом на Агриппине младшей, дочери Германика; это был ее третий брак: от первого брака у нее был сын Нерон; она заставила старика Клавдия усыновить его, а затем отравила Клавдия*], сам не зная, что именно он подтверждает. Негодуя, но сдерживаясь, они полагались на императрицу, по части смерти старика-императора и выбора нового. Тысячи позорных слухов носились о жестокой и бесстыдной дочери Германика. Но эти люди не слушали их и слушать не хотели, продолжая славить добродетель великой женщины, которой Сенеки были обязаны окончанием своей опалы и возрождением своего почета. Как это часто случается, убеждения их зависят от их выгоды. Печальный опыт их общественной деятельности не поколебал их веры в государственный строй, основанный божественным Августом и закрепленный Тиверием, тот

строй, в котором они занимали высокие должности. В исправлении зол, совершенных властителями империи, они рассчитывали на нового властителя.

Из складок своей тоги Галлион достал свиток папируса.

– Дорогие друзья, – сказал он, – сегодня утром я узнал из римских писем, что наш молодой государь женился на Октавии, дочери Цезаря.

Одобрительный шопот встретил это известие.

– Конечно, – продолжал Галлион, – мы должны поздравить себя с союзом, по милости которого государь присоединил к своим прежним титулам титул супруга и зятя, сравнившись в этом с Британником. Мой брат Сенека не перестает расхваливать в своих письмах красноречие и кротость своего ученика, который прославляет свою юность, выступая перед императором с защитительными речами в сенате. Ему еще не исполнилось шестнадцати лет, а он уже выиграл дело трех городов, виновных или несчастных: Илиона, Болоньи и Аппамеи.

– Значит, – спросил Луций Кассий, – он не унаследовал мрачного нрава своих предков Домициев?

– Нет, конечно, – ответил Галлион, – в нем воскрес Германик.

Не слывший льстецом, Анней Мела, также воздал хвалу сыну Агриппины. Хвала казалась искренней и трогательной, потому что он подтверждал ее, так сказать, головой своего сына, еще ребенка.

– Нерон целомудренен, скромен, благожелателен и благочестив. Мой Маленький Лукан, который мне дороже зеницы ока, товарищ его игр и занятий. Они вместе учатся декламировать на греческом и латинском языках. Вместе они пробуют сочинять и поэмы. Нерон в этой замысловатой борьбе не проявляет ни капельки зависти. Наоборот, он охотно хвалит стихи своего соперника, в которых, несмотря та слабость, свойственную возрасту, проявляется порой пламенная энергия. Порой кажется, что он счастлив быть побежденным племянником своего наставника. Чарующая скромность владыки юности! Придет день, когда поэты сравнят дружбу Нерона и Лукава со святой дружбой Эвриала и Ниса [*Пример дружбы до смерти, описанной Вергилием в 9-й книге Энеиды*].

– Нерон, – продолжал проконсул, – и в пылу, свойственном юности, обнаруживает душу кроткую, полную милосердия. Вот добродетели, которые могут только укрепиться с годами.

– Усыновляя его, Клавдий мудро согласовался с волей народа и волей сената. Этим усыновлением он отстранил от власти дитя, заклейменное бесчестием матери [*Британника, сына Мессалины, которого Нерон впоследствии отравил*]. Выдав за Нерона Октавию, он обеспечил власть юного Цезаря, который сделается усладой Рима. Почтительный сын достойной матери, усердный ученик философа, Нерон, юность которого блистает самыми любезными Добродетелями, Нерон, надежда наша, надежда всего мира, не забудет и в пурпуре учение Портика и будет управлять вселенной со справедливостью и умеренностью.

– Мы согласны с тобой в этом, – сказал Лоллий. – Да откроется эра счастья роду человеческому!

– Трудно предвидеть будущее, – сказал Галлион, – однако мы нисколько не сомневаемся в вечности города. Оракулы обещали Риму бесконечную власть, и было бы нечестием не верить богам. Высказать ли вам мою драгоценнейшую надежду? Я с радостью ожидаю, что на земле воцарится вечный мир после того, как парфяне будут наказаны. Да, мы можем, не опасаясь ошибиться, объявить конец войнам, которые ненавистны матерям. Кто тогда сможет возмутить римский мир? Орлы наши достигли граней вселенной. Все народы изведали и нашу силу и наше милосердие. Араб, Сабиец, житель Гемуса, Сармат, утоляющий жажду конской кровью, Сикамбр, долгокудрый шерстоволосый эфиоп, толпой приходят воздать поклонение Риму-покровителю. Откуда явиться новым варварам? Вероятно ли, чтобы льды севера или горячие Ливийские пески таили в себе прозапас новых врагов римского народа? Все варвары, приобщась нашей дружбы, сложат оружие, и Рим, седовласый патриарх, спокойный в своей

старости, увидит, как народы, почтительно сидя вокруг него подобно усыновленным детям, думают о согласии и любви.

Все одобрили эти слова, кроме Кассия, который покачал головой. Он гордился военными почестями, свойственными его происхождению, и военная слава, столь восхваляемая поэтами и риторами, возбуждала его энтузиазм.

– Сомневаюсь, о, Галлион, что народы когда-нибудь перестанут бояться и ненавидеть друг друга. И, по правде сказать, не желаю я этого. Если война прекратится, что станет с силой характера, величием души, любовью к родине? Храбрость и преданность стали бы добродетелями, вышедшими из употребления.

– Успокойся, Луций, – сказал Галлион, – когда люди перестанут побеждать друг друга, они примутся побеждать самих себя. А это самое доблестное усилие, какое они могут сделать, и самое благородное применение их храбрости и великодушия. Да, Рим, наша божественная мать, чьи морщины и волосы, поседевшие в веках, мы обожаем, – Рим установит мир во вселенной! Хорошо тогда будет жить. В известных условиях жизнь достойна быть прожитой. Это огонек между двумя бесконечными тенями, это наша часть божества. Покуда человек живет, он подобен богам.

Пока Галлион говорил таким образом, голубка села на плечо Венеры, мраморные формы которой блестели сквозь мирты.

– Дорогой Галлион, – сказал Лоллий, улыбаясь, – птице Афродиты полюбились твои речи. Они мягки и исполнены изящества.

Раб принес прохладного вина, и друзья проконсула заговорили о богах. Аполлодор полагал, что не легко познать их природу. Лоллий сомневался в их существовании.

– Когда, – сказал он, – падает молния, от философа зависит приписать это явление туче или богу-громовержцу.

Но Кассий не одобрял столь легкомысленных; разговоров. Он верил в богов республики. Не вполне уверенный в границах их могущества, он утверждал, что они существуют, и не желал расходиться с человеческим родом в таком существенном вопросе. И дабы подкрепить свою веру предков, воспользовался рассуждением, которому он научился у греков.

– Боги существуют, – сказал он. – Люди создают образ их. А невозможно представить себе образ при отсутствии реальности изображаемого. Как могли бы видеть образ Минервы, Нептуна и Меркурия, если бы не было Минервы, Нептуна и Меркурия?

– Ты меня убедил, – сказал ему Лоллий, усмехаясь, – Старая баба, продающая медовые пряники на Форуме, у подножия базилики, видела бога Тифона: у него косматая ослиная голова и огромный живот. Он поверг ее на землю, задрал ей платье на голову, звонко, в такт отшлепал ее и оставил ее еле живой, оросив мочей, невероятно зловонной. Она сама рассказала, как ее, подобно Антиопе, посетил бессмертный. Бог Тифон безусловно существует, поскольку он помочился на торговку пряниками.

– Вопреки всем твоим насмешкам, Марк, я не сомневаюсь в существовании богов, – возразил Кассий, и я думаю, что они имеют вид людей, поскольку в этой форме они нам неизменно являются во сне.

– Лучше будет сказать, – заметил Аполлодор, – что люди имеют образ божества, потому что бога существовали раньше их.

– О, дорогой Аполлодор, ты забываешь, что Диану первоначально почитали в образе дерева, и что многие великие боги имеют вид неотесанного камня. Кибелу изображают не с двумя грудями, подобно женщине, но со многими сосцами, как собачонку или свинью. Солнце – это бог, но, будучи слишком горячим, чтобы сохранить человеческий образ, он свернулся в шар: это бог круглый.

Анней Мела снисходительно осудил эти академические насмешки.

– Не следует принимать буквально, – сказал он, – все, что рассказывают о богах. Чернь зовет рожь Церерой, вино – Бахусом, но найдется ли человек настолько безумный, чтобы поверить, будто он пьян и ест бога? Обратимся лучше к божественной природе. Боги – различные части природы. Они сливаются в едином боге, который и есть природа, взятая в целом.

Проконсул одобрил слова своего брата и серьезным тоном определил природу божества.

– Бог – душа мира, разлитая во всех частях вселенной, которой она сообщает движение и жизнь. Эта душа – созидательный огонь, проникающий косную массу, – создала мир. Она им управляет и его охраняет. Божество, действенная причина, в основе есть благо. Материя, коей оно пользуется, косна, неподвижна и в иных своих частях злокачественна. Бог не в силах изменить ее свойство. Вот чем объясняется происхождение зла в мире. Наши души – искры того божественного огня, которым они должны будут некогда поглотиться. Таким образом, в нас бог, и живет он особенно в человеке добродетельном, душа которого не заграждена толщей материи. Мудрец, в коем живет бог, равен богу. Он должен не взывать к нему, но хранить его в себе. И какое безумие молить бога! Какое нечестие направлять к нему наши желания! Эта значит полагать возможным просветить его разум, изменить его сердце и внушать ему исправиться, это значит не считаться с необходимостью, управляющей его непреложной мудростью. Он подвластен судьбе: вернее сказать, сама судьба – это он. Воля его – закон, и он подвластен ему, как и мы. Он приказывает раз, повинуется – вечно. Свободный и властный в своем подчинении, он слушается только самого себя. Все события мира – развитие его начальных, верховных предначертаний. Против себя самого он бессилен бесконечно.

Слушатели Галлиона зааплодировали, но Аполлодор попросил разрешить ему сделать некоторые возражения.

– Ты прав, о, Галлион, что Юпитер подчинен необходимости, и я согласен с тобой, что необходимость – первая среди всех бессмертных богинь. Твой бог, мне кажется, прекрасным особенно потому, что он всеобъемлющ и вечен, но при сотворении мира он проявил гораздо более доброй воли, чем удачи, так как для его созидания он не нашел ничего лучшего, кроме неблагодарной и непокорной субстанции, а материал выдает мастера. Я не могу помешать себе скорбеть о его неудаче. Афинские горшечники более счастливы. Чтобы делать свои сосуды, они добывают тонкую и пластичную глину, которая легко принимает и сохраняет контуры, какие ей придают. Оттого-то их амфоры и чаши имеют приятную форму. Они грациозно округлены, и художник чертит на них любезные глазу фигуры, например, старого Силена на осле, облачающуюся Афродиту и целомудренных амазонок. Размышляя так, о, Галлион, я прихожу к заключению, что если твой бог был неудачливее афинских горшечников, то, значит, ему просто не хватало мудрости, и он не был хорошим ремесленником. Материя, которую он нашел, не была превосходной. Все-таки она была не лишена полезных свойств, ты это признаешь и сам. Нет вещей ни совершенно хороших, ни вещей совершенно плохих. Вещь может быть плоха для одного употребления и хороша для другого. Можно потратить напрасно и труд и время, сажая оливки в глину, из которой лепят амфоры. Дерево Паллады не произросло бы на тонкой и чистой земле, из которой делают те прекрасные вазы, что получают, краснея от скромности и гордости, наши победители – атлеты. Мне кажется поэтому, что, творя мир из материи, для того не пригодной, твой бог, о, Галлион, был повинен в такой же ошибке, как если бы Мэгарский виноградарь посадил дерево в горшечную глину, или какой-нибудь гончар из Керамики воспользовался для выделки амфор каменистой землей, питающей светлый виноград. Твой бог сотворил вселенную. Конечно, он должен был, подобающе применяя свои материалы, творить нечто другое. Раз субстанция, как ты это утверждаешь, была ему непокорна по своей ли косности или по какому-либо иному дурному свойству, стоило ли ему упорствовать, применяя ее к назначению, которое она не могла выполнить; неразумно, как говорится, вырезывать лук из кипариса? Искусство состоит не в том, чтобы делать много, а в том, чтобы хорошо сделать. Что

бы ему ограничиться созданием немногих, но хорошо сделанных вещей, например, рыбкой, мошкой или каплей воды?

– У меня есть еще некоторые замечания относительно твоего бога, Галлион; спрошу тебя, например, не боишься ли ты, что от своего вечного трения о материю он износится, как изнашивается жернов от долгого размалывания зерна? Но этих вопросов быстро не разрешить, а время проконсулу дорого. По крайней мере, позволь мне сказать, что ты не прав, полагая, что бог направляет и охраняет мир, раз, по твоему собственному признанию, он, поняв все, лишил себя понимания, пожелав все, лишил себя воли и, дерзнув сделать все, – лишился могущества. С его стороны и это было очень крупной ошибкой, потому что, таким образом, он лишил себя возможности исправить свое несовершенное произведение. Что до меня, я склонен скорее поверить, что в действительности бог не тот, каким ты его описал; скорей он и есть та материя, которую твой бог однажды нашел и которую наши греки называют хаосом. Ты ошибаешься, предполагая ее косной, она непрерывно движется, и ее вечное волнение поддерживает жизнь вселенной.

Так говорил философ Аполлодор. Выслушав эту речь с некоторым нетерпением, Галлион принялся доказывать, что он не впадал в заблуждения и противоречия, в которых его уличал грек.

Но победоносно опровергнуть доводы своего противника ему не удавалось, потому что ум его не был достаточно тонок, в философии он отыскивал, главным образом, доводы, чтобы склонить людей к добродетели, и интересовался только полезными истинами.

– Пойми же, Аполлодор, – сказал он, – что бог не что иное, как природа. Природа и он – это одно. Бог и природа – суть два имени одного бытия, подобно тому, как Новат и Галлион обозначают одного человека. Если тебе так больше нравится, то бог – это божественный разум, смешанный с миром. И не бойся, что он износится, потому что его вещество причастно огню, который все сжигает и остается неизменным.

– Но если только, – продолжал Галлион, – учение мое охватывает идеи, не привыкшие соприкасаться друг с другом, не упрекай меня в том, дорогой Аполлодор, но скорей похвали меня за то, что я допускаю некоторые противоречия в своих суждениях. Если бы я не мирился с своими собственными мыслями, если бы я отдавал исключительное предпочтение одной системе, – я не сумел бы остаться терпимым к свободе мнений; уничтожив ее в самом себе, я бы не мог добровольно переносить ее в других и утратил бы способность питать уважение, подобающее каждой системе, установленной или исповедуемой человеком чистосердечно. Да сохранят меня боги от того, чтобы я допустил свое чувство исключить возможность всех остальных и позволил ему неограниченно властвовать над всяким другим пониманием.

Нарисуйте себе картину, друзья мои, такого состояния нравов, когда достаточно большое количество людей твердо верило бы, что они обладают истиной и, что они, хотя это и невозможно, сходились бы в мнениях об этой истине. Слишком ограниченное благочестие афинян, хотя и исполненных мудрости и сомнений, все же послужило причиной изгнания Анаксагора и смертного приговора Сократу. Что бы случилось, если бы миллионы людей были рабами одного воззрения на природу богов.

Гений греков и осторожность наших предков оставили в нашей вере место сомнению и разрешили поклоняться Юпитеру под различными именами. Если в заболевшей вселенной какая-нибудь могущественная секта вздумает провозгласить, что Юпитер имеет только одно единственное имя, кровь сейчас же польется по всей земле, и безумие не одного Кая станет смертельной угрозой человеческому роду. Все люди этой секты будут Каями. Они станут умирать ради одного имени. Они станут убивать имени одного ради. Ведь людям естественнее убивать, а не умирать за то, что они почитают истинным и прекрасным. Таким образом, общественный строй должен быть основан на различии мнений, и не надо стараться утверждать его на общем: согласии в единой вере. Такого единодушного согласия никогда не достигнуть, а

делая усилие создать его, только сделаешь людей и тупыми и свирепыми. И действительно, даже самая очевидная истина становится пустым набором слов для людей, которым ее навязывают. Ты заставляешь меня думать то, что ты понимаешь и чего я не понимаю. Таким образом, ты вкладываешь в меня не осознанную мысль, а нечто непонятное. Я ближе к тебе, если я верю в нечто чуждое тебе, но что я понимаю. Потому что тогда мы оба пользуемся своим разумом и взаимно понимаем веру, нам самим свойственную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.